



Фото Алексея БЕЛЯНЧЕВА



На сцене в 17 лет

Я взлетала под купол цирка, а купол вдруг раскрывался, и я устремлялась в небо — летела, взмахивая руками. Зрители вскрикивали, когда цирковой гимнаст делает сложный трюк и, того гляди, упадет. И до меня доносились такие же «А-а-а...!» А я летала, летала и, посматривая вниз, убеждалась — все видят, как я летаю. Такое торжество!

Я взросла, но эти полеты еще долго продолжали мне снияться.

Я родилась и выросла в Киеве. Наш дом стоял на углу двух центральных улиц — Красноармейской и Саксаганского. Рядом с домом был цирк шапито, и в детстве для меня было праздником, когда папа и мама водили нас с братом в цирк. Да и сама на дневные представления бегала — билетером в цирке работала тетя Маруся, наша соседка. И мороженое в цирке было самое вкусное, а уж когда выходили гимнасты и клоуны...

В нашем дворе я собственный цирк устраивала. Рисовала билетики, раздавала соседям и, объявив, что выступает народная артистка Кайя Бисевна — так свое имя-отчество выговаривала

Автобиографическая книга Клары Новиковой выходит в середине апреля в издательстве «Спас»

Неделя. — 1997. — № 8. — С 20-21

Клара НОВИКОВА моя история

ла, — демонстрировала дрессировку зверей. Львами и собачками были соседские малыши, которых я рассаживала на стульчики, и прохаживалась между ними с самодельным хлыстом. Пыталась и бесстрашной гимнасткой выглядеть, но со страховой не справилась — перекинутая через дверь бельевая веревка, которой я обвязалась, затянулась вдруг у меня на шее, и если бы та же тетя Маруся не подоспела вовремя...

Комната, в которой мы всей семьей жили в Киеве, казалась мне в детстве очень большой. На самом деле комната была лишь очень высокой — с лепниной на пятиметровом потолке, с ангелочками, возносившимися над кафельной печкой. Ангелочек этих я обожала. В нашей комнате лишь одна кровать умещалась — родительская, а мы с братом спали на раскладушках. В квартире была еще одна комната — поменьше, в которой жила другая семья. Входная дверь открывалась прямо в кухню, а уборная была во дворе.

В старших классах я принялась понемногу подрезать свою косу, а волосы в

карман папиного пальто прятала, которое лежало в диване. Зимой он надел пальто и так кричал!

Многие девочки в нашем классе уже с короткими волосами ходили, а мне отрезать косу не разрешали. Но я хотела, чтобы и у меня волосы были короткие, и стала готовить родителей к тому, что однажды приду домой без косы. Надевала дома косынку.

— Что такое? Почему ты в косынке? — спрашивала мама.

— Я волосы отрезала.

— А-а-а...

Снимая косынку, и мама успокаивается. Еще раз, еще раз надевала косынку, испытывая маму. А в тот день, когда Терешкова полетела в космос, я решила — все! Терешкова в космос полетела, а я не могу косу отрезать...

Пошла в «Черявицу» — был у нас такой салон. Парикимахерша спросила:

— Хочешь отрезать такую косу?

— Да.

— Приходи с мамой.

— Мама мне разрешила.

Ужасно волновалась лишь, что мне не хватит денег, сэкономленных на школьных завтраках, чтобы расплатиться с этой теткой. Косу-то, а у меня вот такую

щая коса была, она не отдала мне — себе оставила.

Я под дикий дождь попала, и моя стриженная голова выглядела ужасно — волосы торчали во все стороны. Пришла к соседке, к тете Фире, и сказала ей, что отрезала косу и боюсь идти домой. Она побежала к нам:

— Поля, Поля, у меня к вам дело есть. Я надела косынку, и, когда мама пришла, тетя Фира сказала ей:

— Клара отрезала косу.

— А, она уже столько раз отрезала ее... Но я выглядела так растерянно, что это озадачило маму. Она сдернула с моей головы косынку, ужаснулась и закричала:

— Папа убьет!

А папа даже не отшлепал меня — уже большая была. Он поступил еще ужаснее — перестал со мной разговаривать. Мы теперь обедали молча. И у мамы в глазах таился неприворный испуг — папа не разговаривает.

Когда я пришла домой и сказала, что поступила в Студию эстрадно-циркового искусства, папа посмотрел на меня уничтожительно, одним глазом, и сказал: «Ну, теперь перевернись...»



С дочерью Машей и мамой Полиной Семеновной. 1978 г.

Я впервые вышла на сцену как артистка разговорного жанра на практике после первого курса в Измаиле. Весь концерт вела наша студенческая бригада. А я и в конференце участвовала, и выходила с номером «Девушка пришла на танцы». Шел концерт, я сидела в зале и вдруг поднималась и, направляясь к сцене, затевала разговор со зрителями. Что, дескать, тут происходит? Я пришла на танцы, а тут концерт какой-то. А где же танцы? Я купила билет на танцы... И на первом же концерте один из зрителей, хотя он был в штатском и сидел в зале с женой, оказался милиционером — он тут же вскочил и попытался оттеснить меня от сцены, чтобы не мешала артистам...

Близились выпускные экзамены. На занятиях по технике речи преподавательница сказала, что долго думала, что выбрать для меня дюже смешное из украинского юмора, и остановилась на рассказе Остапа Вишни «Молочарство». Мы слушали, как она читала этот рассказ. Так вот, у коровы родился теленок...

— Шоб воно тэля нэ ссало, ёму надилы намордны.

Мыкола (М. Невидничий, ныне ведущий артист-«разговорник» «Укрконцерта», — Ред.) хмыкнул у меня за спиной. Я обернулась...

— Ты всэ уразумила? — спросила преподавательница.

— Да, поняла, — перешла я на русский, — не поняла только, зачем — намордник?

— Шоб нэ ссало.

Я переспросила растерянно:

— Так куда ж его надели, намордник?

Преподавательница не могла представить, что я не сообразила, как по-украински будет «сосать». Но если бы я сама читала этот рассказ, а на слух...

Мыкола уже ржал, взмахивая своими огромными руками — вечно короткие руки его пиджака на локти въехали.

А я выясняла продолжала:

— Где одно, а где другое...

После этой истории, которая долго забавляла всю студию, мне было сказано, что впредь могу не затруднять себя украинским языком. Я обрадовалась. Но через несколько лет, когда в Москву переехала, на Бутырский рынок ходила, чтобы с бабками по-украински поговорить.

Спросишь бывало:

— Сколько квасолька стоить?

— Руб восымдэсят. А ты ж откуда?

— С Киева.

— А шо ты тут робыш?

— Працюю. Замиж вышила.

— За кого? За москаля?

— Так.

— Бидна ж ты моя, бидна. Як же ты тут живэшь? Бэри квасольку так. Нэ надо грошей.

И сейчас, когда гастролирую на Украине, меня просто тянет говорить по-украински. И на сцене люблю украинских женщин изображать. Мои украинки, естественно, говорят на суржике — и всем понятно, и дюже смешно.

Кровать с панцирной сеткой. На окнах — белые занавески. Комната была рассчитана на троих — стояли еще две такие кровати. Мне показали, где брать воду, где мыться.

В общежитии у всех были плитки, и этажом ниже, в филармоническом зале, постоянно пахло едой. Так страшно было новую жизнь начинать. Вдали от дома. Соседки по комнате то и дело менялись. А когда возвращались сразу несколько групп, мест не хватало. И однажды меня попросили поделиться кроватью с лилипуткой — мы спали валетом. Лилипутка прижилась в нашей комнате — заняла соседнюю кровать. Хорошенькая, молоденькая, на высоких каблучках. Маленькой женщиной себя называла.

А третьей к нам вселилась вскоре певица Эмма. Из Москвы приехала — в ресторане пела. Ночами к ней сталходить один из наших артистов. Мы с лилипуткой отворачивались, одеялами закрывались... Эмма эта, кстати, так гикантно материлась, что я решила — научиться этому можно только в Москве, в столице. В филармонии был мюзик-холл лилипутов. Были цыгане. Помню, как какой-то цыганский ансамбль показывался, и руководителю было сказано, что все хорошо, только нет на выход патриотической песни. И назавтра они исполнили цыганскую народную песню — да, именно так было объявлено: «Ленин всегда живой... Цыган на лето брали. Они разъезжали по деревням. Группа Кировоградской филармонии, в которую приняли меня и Романа (солистка Клары Р. Брант. — Ред.), была ведущей и только в городах работала.

Кто-то пел, кто-то фокусы показывал. Был человек, который на ксилофоне играл. «Полюшко-поле» всегда играл. Состав группы часто менялся. Появился, помню, певец из Харькова, который толстых женщин любил. Мы поезда ждем, а он увидел толстую женщину, бросает чехол и идет за ней.

В гостиницах вместе со мной селили певицу Светлану Буль — так повелось, что со мной всегда каких-то шизанутых селили.

Высокая девка с огромными ножицами. Ее муж, баскетболист, в ту пору служил в армии, и Светлана не могла смириться, что рядом с ней нет мужчины. Лежа на кровати, она орала как бешеная: «Отдалась бы я вся, да не знаю кому...». У нее в репертуаре была «Баллада об отце», и там были такие слова: «Отдала я все, чтоб один только раз мне увидеть живым дорогое лицо. Много нас, много нас, кто по снимкам знакомы с отцом...».

Я говорила: «Света, смотри, вот выйдешь на сцену и так споешь». А она чашку в меня швыряла. Могла и графин запустить, если что не так ей скажешь. И постоянно вязала, но нитки у нее то и дело запутывались, и она днем и ночью эти нитки распутывала и рвала их, отчаявшись.

Наш концерт открывал позитивным монологом диктор телевидения Левандовский.

Подобный номер у каждой группы был.

Помните, я про цыган рассказывала?

Левандовский читал «Массандровский разлив»: «Мы стоим по горло в вине.

И ни на пядь не отойдем. Не отдадим нашу Массандру немцам»...

А Светлана тем временем готовилась к выходу. Но однажды...

Была зима, и мама прислала Светлане теплые штаны с начесом, чтобы колени не мерзли.

И в этих огромных лимонного цвета штанах — в этих «батареях», как говорил саксофонист Альберт, — в зеленой комбинашечке и с бигудями, на которых она накручивала свои хищные волоски, Светлана направилась от одной кулисы к другой, где висело ее концертное платье. Но целиком в себя погруженная, уже настраиваясь на выход, она перепутала — по какую сторону задника сидят зрители, и появилась в таком виде за спиной Левандовского.

Она шла вдоль задника за спиной Левандовского — шла не спеша, стараясь не стучать каблуками, — а он воскликнул:

«Они не пройдут!» — и, теряясь, не мог понять, почему в зале смех нарастает.

Может, брюки рассстегнуты? Но убедившись, что и брюки застегнуты, и шнурки на ботинках завязаны, попытался было закончить номер, но в зале уже такое творилось...

А Светлана, только завершив свой проход, поняла, что случилось, и билась в истерике: «Не пойду на сцену!» Концерт вели мы с Романом. Кое-как ее успокоили, но когда она вышла на сцену и му-

зыканты «Балладу об отце» заиграли, Светлана запела вдруг: «Отдалась бы я вся...» Роман выбежал из-за кулис и, возвращая Светлану к «Балладе», запел вместе с нею.

Дома, в Киеве, я бывала лишь от случая к случаю, но однажды папа сам приехал ко мне. Той осенью рано похолодало, и папа взялся привезти мне теплую одежду в Умань, где у нас предстояли гастроли. Он до сих пор вспоминает, какое потрясение испытал тогда, увидев меня...

Мы приехали в Умань, разместились в гостинице, и я пошла в Софиевку. Этот парк, созданный графом Потоцким, как дар своей будущей жены Софии, был запущен, неухожен, но мне хорошо там было, и я возвратилась в гостиницу уже перед самым выездом на концерт.

И вот сижу, съежившись, в холодном автобусе и жую колбасу с хлебом — днем поесть не успела. Хотя на улице темно уже было, но что-то заставило меня посмотреть в окно. И чувствую, что из-за окна на меня устремлен чей-то взгляд. И даже вижу глаза, на меня устремленные. Человека не вижу — только его глаза. И понимаю вдруг, что это — папа.

Выскакиваю из автобуса, кричу: «Папа! Папа!» Обнимаю его. А он плачет.

И он до сих пор вспоминает, что пережил тогда: «Нужно быть хорошо голодной, чтобы в автобусе, в холодном автобусе, держать в перчатках кусок черствого хлеба и кусок колбасы и так жадно есть. У меня слезы выступили на глазах — для этого дочку вырастил?»

Каждый раз, приезжая в большой город, я спешила узнать, кто в эти дни выступает здесь. Хоть один свободный вечер у нас всегда был. Так во Фрунзе, помню, я побывала на концерте популярного в те годы рижского ансамбля «Мадо».

Рижане работали на летней площадке городского сада. С легким акцентом два солиста пели: «Листья желтые над городом кружатся...» Да и одеты они, казалось, были по-европейски. А автор песни, Раймонд Паулс, сидел за роялем и был в жутком подпитии...

Не так давно я выступала в Риге на конкурсе «Море смеха». И маэстро Раймонд Паулс, возглавивший в суверенной Латвии министерство культуры, говорил мне: «Юмор я оценить не могу, но то, что вы поете, это очень хорошо».

Каждая филармония имела акробатические номера. И в нашей группе зрителям представлялась акробатическая семья — муж, жена и маленький мальчик, лет пяти. У зрителей восторг вызывало: и как мальчик в хим выходит, и как отец раскручивает его...

Нас спрашивали: как может маленький мальчик вытворять такое? И я всегда ужасно боялась, что кто-нибудь зайдет за кулисы и увидит, как Витенька курит. Наш Витенька был лилипутом. К нему приезжал папа — то ли майор, то ли полковник, — мама приезжала, сестра. И все были нормального роста, а Витенька, когда ему действительно было лет пять, вдруг перестал расти.

Я понимала, что он уже взрослый парень, но постоянно ловила себя на том, что отношусь к нему, как к ребенку. Он собирал деньги на кооперативную квартиру. И я представляла эту квартиру, где у столов и стульев подпiledы ножки, а у плиты и раковины — подставочки.

Помню, как Витеньке двадцать лет исполнилось. Я купила ему подарок, но и в номере его не было, и никто не видел его. Наконец, нашла его под гостиничной лестницей. Он забился туда и плакал.

Я спрашивала:

— Что, что, Витя? У тебя же день рождения сегодня.

— Мне уже двадцать, — заговорил он, взяв с меня обещание, что я никому ничего не скажу. — И я все меньше похож на мальчика. Я им скоро буду не нужен в номере. А что буду делать тогда?

А у меня, казалось, все было в порядке. Я выжила в этой филармонической жизни. Но ощущение, что меня ждет какая-то другая жизнь, не покидало меня. И если бы я могла хотя бы представить ее, как представляла квартиру маленького Витеньки...

(Продолжение следует)